

Полина Иванушкина

Приходи ко мне зимовать

Рассказы

Рубашка

Ехал уже решительно объясняться.

Сглатывал — как сглатывает волк перед броском, будто примеривая добычу к утробе: кадык проворачивается в горле, как винт в мясорубке, уходит вниз, упирается в жесткий стоячий воротничок новой рубашки. По хорошим поводам он всегда надевал новую. Сейчас был хороший. Бок бы у судьбины отгрыз. Отбил. Присвоил. Женился.

Нужно только решительно объясниться.

Щетину оставил, она любила. Машину помыл накануне, выбрал самый короткий маршрут в ее Отрадное, дела отменил еще с вечера, когда понял, что готов, что сейчас. Или никогда.

Или никогда?

Нет, про это не думал, как не думает в чаше волк о том, что назавтра переменится ветер, как не думает ветер о том, что завтра будет уже далеко. В яремной ямке, где билась кровяная жила, такая, что перекусить — и нет ничего, пахло у нее морской солью, она клала ему голову на плечо, когда они рассекали капотом надвое долгие тверские леса, вздымая листья с обочин, и он думал, что слишком мало осталось до точки, отмеченной клетчатым финишным флагом... Навигатор показывал час езды, воротничок немного тер. Уже почти у Третьего, у светофора, что-то копали. Все встало. Ближе к обочине вскидывали руки горячие парни, делили дорогу. Ждали гайцов. Пробка была не по плану, мог не застать ее дома. Набухшая над городом фиолетовая, как морды синяков у Киевского вокзала, шапка, на которую он не обращал внимания, вдруг показалась резче, ближе; забарабанило прямо по лобовому. Он включил дворники, приглушил в динамиках Боба Марли, ритм сбиваемой со стекла воды отуплял, сплюснутая внутри пружина разжималась, только хлопок, 40 процентов полиэстера, врезался в горло, давил, напоминал.

Он вдруг устал, обмяк, подумал, ну не дурак ли. Дернул из пачки зубами ментоловую кэмелину, столбик пепла стал прибавляться. Он умел курить вот так, не страшивая, в светомузыке баров этот прах хорошо рисовался. С чего ты взял, что она

Иванушкина Полина Сергеевна — журналист. Окончила журфак МГУ. Работает в еженедельнике «Аргументы и факты». Автор-составитель «Детской книги войны» (М., 2015). Живет в Москве. Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

согласится. Ок, не согласится эта — согласится другая. Но хочу — эту. Чтобы горло освобождала от этого хлопка длинными пальцами и слышно было, как клацают друг о друга ногти в шеллаке. Чтобы убирала языком пот. Пока доберешься до этого вашего СВАО, семь потов сойдет... Пепел рухнул вниз, рассеялся невидимым микроспорумом по низу белой рубашки. Следа не осталось, только — осадок. Горячих парней с обочины растащили, яму закопали, шмат тучи унесло южнее, все задвигалось, он врубил *Раммитайн*. Проклятье, бензин. Я перенервничал. Забыл заправиться, суечусь, зачем-то схватил пистолет. Скипетр мне, штурвал, красную кнопку, кирасу, брандспойт. На манжету плеснуло, всего одна эфемерная капля, но стало понятно, что древесные ноты (и еще дым огня) его плотного запаха, которые успела впитать новая рубашка, уже безвозвратно испарились, как и эта часть дня.

Ехать в Отрадное было бессмысленно, она наверняка уже на работе. Он перестроился, сделал милицейский разворот, чиркнул шипами покрытие, надавил газ. Туда пошло легче, но пересохло горло, он тормознул у макдональдса, взял эспрессо, обжегся, дернулся, под карманом протекла кофейная гуща. Любит-не любит.

Любит — не любит, а будет. Моя.

На экранчике все уже было желтенькое, он почему-то вспомнил дачу: ему четырнадцать, все вот такое же, в желтых, рыжих, красных, по нарастающей, как температурная кривая, листьях — пятилапые кленовые, он прокалывал их паруса их же «пестиком», низал друг на друга, венчал чьи-то головы, одну особенно, каштаново-кудрявую, пахнущую мылом «Алёнка», черт, чья это была голова, мы все тогда там друг друга любили, на этих дачах, на влажных мансардах, пахнущих оставленной до зимы антоновкой, перебирали друг друга, как яблоки, еще незрелые, спешили урвать...

Спереди тормознули резко. Машины через три сначала было тихо, а через минуту торжественной погребальной тишины началась суета, он бежал уже туда, где-то совсем далеко выла сирена, день перевалился на другой бок, он тащил человека, это был еще не старый дедок на форде, зажатый между рулем и сиденьем. Дедок не дышал, он его целовал, уложив на асфальт, и когда тело наконец унесли братья в синем, уже в ранних октябрьских сумерках, он на ходу расстегнул верхнюю пуговицу, ослабил удавку, потому что так было уже невозможно, и только тогда заметил, что вся грудь — в красном. Вдобавок к кофе, бензину и пеплу.

Рубашка была на выброс.

Он сошел с проезжей части, все равно машину не видно в смраде выхлопа и усталости, расстегнул пуговицы, одна за одной, разомкнул манжеты, утянул за рукой все запахи дня — древесных нот, кэмела, лукойла, эспрессо, орбита, стариковской затхлости изо рта трупа, смял рубашку одним решительным движением в ком, пихнул в мусорный бак и прислонился голой спиной к стене чьего-то дома.

Было холодно, прохожие оборачивались, его бумер горланил сигнализацией, в витринах зажигались огни.

Эйнт ноу сан шайн вен шиз ган.

Красные всполохи движущихся кленовых крон вдоль проезжей части метили линию оклада.

Он снова ушел.

Батюшка

Матушка должна была отойти ко Господу ближе к лету, а пока на Страстной (пришлось юродствовать в епархии, просить внеочередной отпуск, звать подкрепление из деревни — районный приход в самое горячее время оставался без священника) Иличёвы двинулись в Москву.

Боли еще только пошли, а две операции уже были, и от того ли, что Иличёвы были не старые, или от того, что детей так и не смогли, совершенно не расплескалось в них густое, как глазурь на куличиках, только совсем без сладких блесток, чувство причастия друг другу, как когда он позвал ее за себя, краснея лбом, а она дунула только ему на лоб, так что слетела челка, и тоже стала считать паркетины на полу...

Вот такая же неделя была, восемнадцать лет назад, когда еще вчера вроде в пуховиках, а сегодня уже восторг и ужас, что резиновые прохудились еще осенью и денег на новые перехватить негде, а солнце широкой дланью наматывает на себя хлопковый тюль — форточки настезь — и ложится узорами по деревянному полу их вечно стоящей в лесах церкви, и пока он лезет вверх, к прорабу, с чугуном — пшенка с тыквой — она внизу льет дым от кипятка в жестяные кружки... Дети, если бы пошли, то пошли бы кучно, растащили бы на кирпичики то, что у них построилось между собой, раскачали бы лодку — сколько он таких видел. Нет, не из тех, кто на Пасху ловит брызги, а потом перекидывает обеспокоенно через стол-реку, по которой текут яйца, куличи, пайетки, бутылки с кагором, мелкие деньги и свечки: «На тебя попало? На меня хорошо попало!» Нет, у этих и вовсе подпоры никакой не было в этом их быте, что с них взять, но вот у тех, кто каждое воскресенье приходит, и копейку в ящик, и к нему посоветоваться, и исповедаться о грехах, вот у тех-то почему при такой сосредоточенности на молитве бывает такая растерянность, и до жен своих никак не льнут, только детей передают с рук на руки... Батюшке это было удивительно. Вот у него — и подпора была, и быта особо не случилось, «и мне легче, да, мне легче, и нельзя по себе судить», а потому матушка пельмени, например, между постами лепит, а он — мучная пыль поверх темной, ее руками подшитой рясы — сидит на табуреточке и ее за колени обнимает молча. Или кино смотрят в обнимку. Лейки за ней по клумбам. А она только сдует челку ему со лба, и хорошо. Даже не успели затосковать от бездетности, так хорошо было.

До прошлой осени. До Покрова.

В Москве семинарский товарищ обещал помочь на Каширку, но для этого нужно было сначала доехать, ехать было уже тяжело, в их областной матушку выписывали уже со всей определенностью, но он ее тащил, заставлял уже почти, потому что иное и богу было противно, и для него непредставимо. Как? Как без нее? Да за каждый час с ней буду пешком идти с медным крестом, с купола снятым, по центральной улице их района, в горку, и обратно, а не то что на Каширку устраивать... И матушка не приближала ничем своего срока, и терпеливо жила до него, и это последним ее даром любви к нему было — никак раньше не уйти и все испробовать, даже если все всё давно поняли. Тяжело только иногда совсем становилось, когда и пробки, и в такси рвет, и в метро мутит, и нужно и не запачкать, и виду не подать... А что бы подумали? Матушка пьяная? Или беременная? Беременной не была ни разу, пьяной — единожды, между двумя операциями, кагору-то много и не надо было ей на нетренированный организм, тогда и заплакать смогла, и смириться на утро. И на вторую шла уже с надеждой, готовилась жить, но знала, что если не суждено, то метаться больше не будет, только постарается Антоше все это как-то помочь-перемочь. И помогала.

А он рвался, конечно, рвался.

И сейчас женщина эта, как будто их ровесница, и что самое главное — своя, Иличёвы сразу это оба поняли — своя, по-настоящему, не по-игрушечному, она в

Антоше какой-то разлом совершила, матушка это отчетливо видела, рваться он стал по-иному, и вдруг впервые испугалась смерти. Потому что до этого, вот сейчашнего, когда у товарища сидели после Каширки, к стенке на кухне их раскладушечки прислонены, до этого Антоша умирал весь с ней, как с Христом в пятницу, хотя она и не просила, а сейчас вдруг перестал...

«Заживо похоронил», — говорят люди, но это было не то, совсем не то, хотя теперь они совершенно точно по отдельности шли и разными тропами. Раньше она двигалась к летнему сроку, а он ее тащил назад, к воскресенью, и совсем, до ниточки, до рваной кожицы переживал это весеннее приближение к Пасхе, а сейчас она опять шла туда же, а он уже — в сторону... Не назад, но в сторону. Своей дорогой. Налево пойдешь, направо пойдешь... И женщина эта, Милена, она как тот камень встала посередь их дороги, такого вроде уже утрамбованного пути... И что особенно было горько наблюдать, — не как Антоша отходил от нее, нет, просто вдруг принял, что летом матушки не станет — а как начало в нем бороться что-то против самой его веры, вот такой ладной, как крымский камушек в ладонь, обкатанной и гладкой, уютно лежащей в выемке груди, над сонным сплетением, под крестом, на который она по ночам укладывала спать свою ладошку...

Милена была москвичкой, а это уже, конечно, было само по себе для Иличёвых диковинка, но удивительнее всего было то, что ее совершенная ясность, ее полное вхождение в церковь — что под своды, что прямо в божеские рученьки — было таким ощутимым, каким редко было даже среди тех батюшкиных прихожан, которые и посты, и правило наизусть, и церковная благотворительность... Вот не было от них такого. А от Милены было. Своя. Родная. Там же, на тех же облаках пасется, те же райские кущи видит, теми же словами передает... Прозрачная, ясная, как ребенок. И так ее близость была оглушающая, что самый контраст, самое то, что и искру высекло, сразу и не заметили, потом только и проявилось сполна...

Матушка таких в городке не видела, может, только девочками, почему-то к концу школы красавицы все покрывались прыщами, а светлые лица начинали носить обтягивающие кофточки, и невинная прелесть с них оползала очень быстро, как позолота с софринских икон, то есть была таким авансом, который никто из них не мог окупить, а вот Милена — та уже давно не была девочкой, где-то сорок, как и Иличёвым, в разводе, но коса ее золотая была сложена смиренно на плече, и была тугой и широкой, и пахнущей гуччи. Про гуччи матушка слышала, знала, а про губы Милена, даже когда не просили, новым знакомым сама в какой-то момент обязательно каялась, что свои, ибо просто стыдно было христианке иметь такие беллуччиевские губы. Бог пришел в ее маленькую жизнь на пустое место, еще в юности, и Милена приняла его ласково и даже не попеняла, зачем все напутал и вложил ее молитвенную душу в это лишнее ей дивное тело. Больше к дару ничего не прилагалось — ни пары, ни птенцов, ни гнезда, и Милена недоумевала, но смирялась. Жила она странно, — хотя многие в Москве жили странно — на деньги отца, промышленявшего в банке, в каком-то двадцать пятом для Иличёвых измерении: окунаясь на Крещение — в випкупели, прорубленной в дорогом Подмосковье, из ЦУМа спешила волонтерить в хоспис, и все это — одиноко и праведно, и вечно извиняясь, потому что, нигде не солгав, — бог выбрал праведницу — была бельмом на глазу у всех: у дурнушек, у див, у сребролюбцев, у голодранцев, у верующих и у нет... Матушка была почти готова поверить в то, что Милена святая, ибо чистая посреди греха и при этом не от сирости, а из совершенства, но святым был для нее Антоша — и им оставался быть... И она про себя благодарила, что довелось такое увидеть перед смертью, ибо это было еще одним доказательством, что и после смерти она окажется там, где надо.

Антоша же внушал отчаяние.

Они держались под столом за руки, как держались всегда, когда расстояние сокращалось до локтя, но всегда это было касанием-знаком, я здесь и ты здесь, сейчас

же он хватался за нее, как утопленник, и в их взаимном спасении друг друга, что длилось уже с октября и выпило сил, вдруг нарушилось равновесие. Матушка даже ощутила, как перестала кружиться голова, она как-то вошла в берега своего иссохшего тела, и ее стало больше, потому что Антоша ощутимо уменьшался, молодел, становился безус, как тогда, когда краснел лбом, и метался, как она между операциями.

Милену, в черном и глухом, грудь свою божественную и богом данную, как всегда, прикрыв, как могла, Иличёвых видела в первый раз, и батюшка, как и все батюшки, вызывал у нее лишь благоговение.

Хозяин дома, самый московский товарищ, служил высоко, был аскетом и от усталости почти дремал за столом.

Отец Антоний же сквозь марево — кажется, ноги все-таки промочил, пока ждали такси у высоченной башни Саурана, протыкавшей южно-московское небо, начинался озноб — из пятен света и тени (лицо Миленино, вырезанное серафимовым крылом, в обрамлении нимба из кос, и темная, глухая ее кофточка) собирал для себя немислимый, непристойный — но ничего не имевший общего с плотью, только с идеей — образ, и все злее обжимая под столом свод матушкиной верной ладони, отмахивался от прелести, понимая, что ничем иным это и быть не может, и внутренне борясь («Барби, как есть, барби в рясе»), вслух, потянувшись за сушкой и не уследив за собой — температуру мужа чувствовала уже и матушка, которая в последние дни была такой прохладной, как земля, что пойдет водой скоро после Пасхи, — уронил вместе с сушкой в сторону Милены: «В монастырь-с».

Иличёв и сам не понял, зачем добавил это старорежимное «с» на конец: то ли чтобы окончательно войти в образ осуждающего пустоцветность незамужней, бездетной красавицы старца, то ли чтобы дать соломинку — матушке, прежде всего матушке, ну и потом застолью — что он еще в уме, это так, пародия, просто что-то перегрелся сегодня...

Милену потянула воздух и заплакала, но не как плачут взрослые, одними глазами, но заплакала плечами, ребрами, как плачут дети, поставленные в угол за неделанные уроки или рваные колготки: стыдно и мама не любит...

За столом на минуту замолчали, так что к ее истеченью капель из крана в углу уже никого не обманывала, и невидимая в апрельской темноте завесь дождя уже явно была отделена и от воды на кухне, и от самой кухни этой, да и от всего дома, стены которого для батюшки вдруг двинулись и отверзлись, и он ясно понял то, что давно подпирало ребра, то, о чем говорил товарищ, когда увидел их лица после сегодняшнего совсем бессмысленного визита к врачам, то, что заставило его сказать ни в чем не виноватой Милене гадость... И Миленин монастырь из женского и умозрительного оброс для Иличёва плотью и стал мужским и неизбежным, — вдовым священникам дважды женату не бывать — и вот это «похоронить себя заживо» сначала предстало перед отцом Антонием отчетливо. А потом отрекошетило от матушкиного любимого, землистого цвета лица.

Иличёв потянул ее за руку из-за стола и, зная, что жизни для них нет иной в эту Страстную, повел в какой-то перегиб коридора, взял двумя пригоршнями ее вдруг ставшее, как прежде, рыжим лицо и тихо сдул со лба выпавшую из-под платка челку. Обнимать ее было нельзя, страшно, но можно было еще целовать.

К утру Москва растаяла, земля пошла водой, и Иличёвы перед отъездом на приход взяли на развале в переходе две пары резиновых сапог.

До лета надо было в чем-то ходить.

Печка

«Приходи ко мне зимовать. Печку одну топить будем.
Так ему и сказала.
Но Василий, он же как? Если что решил, так по-евоинному все и будет.
Не йдет».

* * *

Вышел Василий с петухами. Соседские птицы голосили во тьме, звали зарю. Щеколда, засов, все наощупь, тьма, растаскиваемая петухами на клочья — будто полосы, ветошные тряпки по небу и грядкам — сливалась с привычным глаукомным туманом. Часы стали в прошлом году, батареек дед не менял и времени не осязал, но вышел еще на невяном рассвете, вовремя. Чуйка. Петушина.

Утренний холод можно было взять на руки, подержать. Такие плотные, полные минусовой ртути, хоть в чемодан складывай, утра теперь стали. Но руки у деда Василия не мерзли, металл не охлаждал глубоких, полных черного, линий судьбы на ладонях.

Заря показалась. Птицы выдохнули, легли спать. Василий одолел первую сопочку, от которой сизая его изба глянула снизу проваленной крышей, истончившейся за жизнь трубой. Дыма труба не пускала. Уголь кончился еще на позатой неделе, а если бы и был, то уже не натаскаешь. В сарай, из сарая, в ведро накидать, поднять, запрокинуть, сберечь огонь — и так каждый день, сил на зиму не хватит. Василий берег дыхание. Дом выстыл.

С сопочки видно — бы было, если б Василий зрел, — как старуха с туго подвязанным, как у покойников, под подбородком узлом, из дома напротив с белым шаром мелколепестников, октябрин, у забора растерянно стояла, опустив к коленям длинные, тянущие к земле руки, тяжелые ладони, обоими своими бельмами вперившись в закрытые ворота деда Василия. Чужала, по-собачьи, что дом пуст, что не будет теперь сообщать ей о жизни на их тупиковой улице скрип отпираемой двери чужого сарая, бряканье ведра с углем, чертыханье, писк некормленных мурок.

Мурок, уходя, Василий покормил. Впрок. Вымел, что было, из холодильника, погреба, пооткрывал железные крышки с заготовок. Одна, рыжая, молодая тварь, дедом интересовалась больше остальных. Провожала до сопочки, неразличимая на темно-рыжелой, уже тяготеющей к зиме, к влаге и черноте, которые воспримут белый покров, земле. Потом отстала. Вернулась к своим.

Над улицей пыхнул дымок, из трубы старухи с бельмами. Лег низко, медно-литое облако, до небес не поднялся. Прощальный залп.

Дед Василий уже тек с сопочки вниз. Спиной к дому.

* * *

«А печку бы одну топили — и всем хорошо. И экономия, и Василий под присмотром. А то ведь извел меня. А мне все легче, бдить его под боком-то. Слушай сюда, договорились: в пять созвон. Так он не слышит мобильник этот свой. Говорю, сам звони, видишь, нет от меня звонка! Он: отстань, не заряжен он у меня... И я мечусь. Живой — нет? Машке звоню, напротив, говорю, что, живой Василий? Та, пока глаза видели, докладывала: вижу, говорит, уголье у ворот рассыпано. Значит, печку выгребал. А я думаю, пока нес, пока брал ее, золу, теплую, сгусточек, как кутенка, руки грел об эту черную муку... Все тепло, хотя б так. Коль моего не хочет».

* * *

Василий шел. Швырял тупыми, расслоившимися мысками больших ботинок тонкий ледяной налет с ночных луж; света не видел.

Новорожденный свет исходил откуда-то снизу, от земли, выскакивал из-под дедовых подошв. Горизонтальный, широкий, как совковая лопата, луч от встающего солнца оживлял у Василия под ногами осоку в первозданном утреннем инее; высвечивал с изнанки продырявленные осиновые листья, уже даже не красные, скорее бурые, черные; поднимал выше придорожную пыль. Лучу оставалось дотянуться до облаков, выхватить такую необъятную жалость из неба, осветить вот это все (глубоко укатанный в потрескавшуюся землю путь из одного села в другое, через сжатые поля; тоску, которой начинаешь болеть по родине в срединных числах осени, разлитую над вывороченным черноземом, над беспризорными пожарами, запаленными по обочинам полей, над неживыми избами, над заметающими все последними уже хрусткими листьями, которым вот-вот — чавкать, таять, липнуть к подошве, над запахом этим, — многолетнего перегноя, тронутого первым морозом, и горящей ботвы — и над дедом, с котомкой, рюкзачком, кепкой прикрыв голую голову, одолевающим путь) — лучу оставалось осветить вот это все, выхватить, обрамить, дрогнуть от сладкой боли, никакой иной здесь и быть не могло, и — зайти за тучи. Не дожидаясь и полдня.

То, что оставалось лучу.

* * *

«Моего тепла не хочет — и никогда не хотел. А что хотел, не знаю... Я ему не высказывала о себе, нет. Но он знал. И смотрел на меня всю жизнь, как на пейзаж. Мы ж родственники, дальние, все время бок о бок. Понимал про меня все. Владел. Чувствовал, что его. А ему так — не надо. Ему надо — самому. Знал, но никогда не воспользовался, виду не подал. Всю жизнь владел, все семьдесят лет, все семьдесят четыре ... На танцах, в клубе, смотрела на него — не подходил. В армию ушел — ждала. Женился — смотреть перестала, а ждать — нет. Сама уже замужем, а ночью иной раз такое привидится... Стукнет ветка в окно, сливы тяжелые летями были, я от подушки отпряну, от мужа своего отлеплюсь, рубаха влажная, жар, ищу глазами в раме, в темноте, под сливами — может, он стукнул в окошко, позвал... Никогда не звал. Никогда. Жена схоронил. И я своего. Уже и ждать стыдно. Ну я и не жду... Не жду. Печка вот только. Жалко деда. Холодно. Ноябрины уже. Время к зиме».

* * *

К полудню дед Василий был по-прежнему в начале пути. Шел медленно. Как мог. Думал. Перебирал внутри себя все устройство хозяйства, оставленного теперь на разграбление. Окна заколотил. Гвозди по шляпки не вошли, но замах у руки еще был. По два гвоздя на досточку. Больше и не надо. Огород убрал. Чтоб не гнило, не кисло зимой. Голая земля. Зимние яблоки стряс, выставил у ворот. Одно, штрефель, сунул в карман. Все прибрал, учел. Вроде бы. Тревожили только скукоженные, пожухлые черно-белые карточки, прикнопленные к толстой темной шифоньерной двери, которые дед так и оставил в пустом доме; не решил, что с ними делать. Когда брился, раз в месяц, Василий Василий гляделся в треснутое зеркальце, на гвоздике прибитое на шифоньере, гляделся по долгу памяти, а брился — наизусть. Взгляд, ничего не различавший в мутном стекле, блуждал окрест, пока пальцы оттягивали щетинистую кожу, сбрасывая седую медь — как будто кровь текла внутри колючек. Волосы падали на пол, Василий уже несколько лет пол не мел. Бездумный взгляд зацеплял людей на скрученных, будто уже не имеющих сил бороться с земным тяготением, карточках, преодолевающих волю держащей их алюминиевой кнопки. Кто этот военный? Думал Василий. Вот это фото на паспорт, чье? А этот кареглазый, молодой, в вихрах, похож

на этих, солистов, как будто с обложки пластинки, в городе такие видел... Василия тревожили эти лица, он силился вспомнить хоть что-то — и не мог. Неспроста же они прикноплены здесь, и зачем-то я бреюсь год за годом, глядя на их гладкие подбородки...

Шифоньер молчал.

Василий брился.

Добрился.

Идет.

* * *

«Жена у Василия двадцать лет как померла. Сын был, тот еще в молодости погиб, на мотоцикле. Резвый был, как отец. А сдавать Василий начал недавно. В прошлом году еще печь сам хорошо топил, не мерз. И трубку брал. А сейчас и глаза. И запоры. И сердце. Занимается самолечением. Я ему скорую вызываю, те колют и говорят: в поликлинику на прием. Да разве он к ним пойдет. Сидит сиднем. Бобылюет. Не помнит ничего. Огород полет. Заговаривается. Девяносто лет. Все умерли, кто был. И у меня. Тоже умерли. Но у меня хоть печка... Дрова. Собес. Телефон. Вот он опять телефон вчера не взял. А я ему опять сказать хотела: "Приходи ко мне зимовать"».

* * *

Дед Василий шел.

Темнеть начало после четырех, морозило уже всерьез, щипало с испода куртки, подаренной со своего плеча тем кудрявым, что с обложки пластинки, внутри образованной зазором между темной, складчатой, как пласты шурфа, шеи и далеко отстоявшим от нее тертым воротником воронки. Василий шел, не останавливаясь. Знал, что путь долгий. Устал; глаза от усталости, сумерек и давно уже нависшего под бровями тумана почти и не различали ничего; шел ощупью, полагаясь на свои ботинки и нюх, потому что и разум уже застыл: дед Василий забыл, куда вышел до зари, с петухами. Помнил только, что засов точно навесил... В сумерках пошел снег, первая сухая крупка. Под ногами чуть-чуть похрустело, потом большие башмаки деда Василия стали оставлять проталины на дороге, дорога никак не кончалась, и вместе с сгибающимися позади километрами оставались в последнем безвестье не только безбородые лица с шифоньера. (Он уже и не думал вспомнить, кем эти люди доводятся ему.) Оставался в беспомощности заколоченный дом, убранный огород, вся биография, которую — что нашел: паспорт, метрика, пенсионное — сложил в аккуратную стопочку на холодной, заляпанной золой когда-то белоснежной печи; найдут, если что.

Дед Василий шел, и впереди оставалась еще добрая половина пути.

Он шел зимовать.